

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Никулин А.М.

**Анализ альтернатив взаимодействия властных структур
и локальных сообществ в российских
и зарубежных аграрных реформах XX-XXI веков**

Москва 2020

Аннотация. Цель работы – обозначить основные российские и зарубежные альтернативные направления сельского развития в XX веке, связанные с трансформацией таких его базисных элементов, как крупное (корпоративное/коллективное) и мелкое (семейное) аграрное производство, сельскохозяйственная и несельскохозяйственная деятельность на сельских территориях, государственные и самоуправленческие органы власти на сельских территориях, а также долговременные демографические и социально-экономические показатели сельского развития. Необходимость ретроспективного и футурологического изучения взаимодействия социально-экономических институтов сельского развития обусловлена, во-первых, проблемами многополярной сельской дифференциации, которая характерна сегодня для всех стран БРИКС в большей или меньшей степени; во-вторых, очевидными стратегическими и взаимосвязанными направлениями аграрной политики стран БРИКС.

Abstract. The research aims at identifying the key Russian and foreign alternative directions of rural development in the 20th century related to the transformation of its basic elements such as large (corporate/collective) and small (family) agricultural production, agricultural and non-agricultural activities in rural areas, state administration and self-government in rural areas, and long-term demographic and social-economic trends of rural development. The retrospective and futurological study of the interaction of social-economic institutions of rural development allows, first, to reveal the challenges of multipolar rural differentiation typical for all BRICS countries to a greater or lesser extent; second, to identify the obvious strategic and interconnected directions of the agrarian policies of the BRICS countries.

Никулин А.М. директор Научно-исследовательского центра аграрных исследований ИПЭИ Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Данная работа подготовлена на основе материалов научно-исследовательской работы, выполненной в соответствии с Государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на 2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1 Исторический анализ развития институтов сельского развития.....	5
2 Футурологический анализ соотношения институтов сельского развития.....	18
3 Компаративистский анализ элементов разных моделей аграрного развития в реформаторских проектах со сходными или, наоборот, противоположными сценариями аграрного развития.....	27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	44
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	48

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы российское руководство постоянно подчеркивает важность ориентации страны на самостоятельное аграрное развитие и продовольственный суверенитет, причем важность этих задач лишь подкрепляется нынешними международными ограничениями и последствиями международных санкций. За постсоветский период было принято множество программ, проектов и решений (на федеральном и региональном уровнях), призванных способствовать развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий в целом, и результаты этих решений и их практической реализации хорошо освещены в научной литературе в своем количественно-статистическом измерении. Однако до сих пор не проводилась иная оценка исторического опыта, нынешних тенденций и проглядывающих перспектив сельско-городского развития – посредством систематического сравнения отечественной аграрной трансформации с траекториями аграрных изменений других стран, сопоставимых с Россией по ряду объективных социально-экономических и социокультурных характеристик или же идеологических моделей и долгосрочных сценариев сельско-городского развития.

1 Исторический анализ развития институтов сельского развития

Реконструкцию истории развития основополагающих институтов сельского развития в зарубежных странах мы предлагаем проводить в формате рассмотрения нескольких значимых кейсов. Так, чрезвычайно интересной и содержательной представляется коллективная монография тринадцати ученых-аграрников, исследовавших эволюцию аграрной политики в восьми странах, где сложились фашистские политические режимы в период 1920-1930-х годов – Италии, Португалии, Венгрии, Германии, Австрии, Испании, Маньчжоу-го, а также режим Виши во Франции [1; 2]. Авторы работы руководствовались в своем исследовании общей компаративистской структурой, включающей в себя ряд базисных свойств, характерных в той или иной степени для любой фашистской аграрной политики: популяризация дискурса о необходимости защиты и поддержки крестьянства; агрессивная протекционистская политика, направленная на достижение национальной продовольственной безопасности; активное государственное вмешательство в функционирование аграрных рынков; проведение аграрных реформ, не ставящих под сомнение сложившееся право собственности на землю, включая и право земельной олигархии; широкое применение идеологии корпоративизма в целях гармонизации социальных отношений между городом и селом; введение военной дисциплины и бюрократической иерархии при принятии и выполнении организационных решений в аграрной политике; подчинение сельского хозяйства нуждам стратегических секторов экономики, особенно связанных с войной.

Подобный компаративистский анализ позволил обнаружить взаимодействие и взаимовлияние ряда идеологических аграрных связей между различными фашистскими режимами. Например, лозунг достижения самодостаточности в производстве и потреблении пшеницы для Италии, предложенный Муссолини в 1925 году, активно использовался в Португалии с 1929 по 1933 годы и вновь был подхвачен режимом Франко в конце 1930-х годов, после окончания Гражданской войны в Испании. Еще более впечатляющим образом идеологический лозунг «кровь и почва», предложенный в начале 1930-х годов идеологом и министром сельского хозяйства нацистской Германии, как воплощенное единство крестьян и земли и основание германской государственности [3], был подхвачен японскими милитаристами во второй половине 1930-х годов – для создания аграрной идеологии государства Маньчжоу-го.

Конечно, степень модернизации аграрного сектора и сельских институтов, связанная с размером хозяйств и распределением земли в фашистских странах, при этом могла быть весьма различной, однако, что безусловно объединяло фашистские режимы,

так это стремление провести модернизацию сельского хозяйства, направленную против либерального и коммунистического проектов аграрной модернизации. Суть фашистского модернизационного подхода заключалась в государственном авторитаризме, дирижирующем как технологическими изменениями, так и рыночными правилами. В социальной сфере это означало создание объединений крестьянства и земельной аристократии в корпоративные институты, преодолевающие сословные и классовые конфликты в сельской местности и содействующие модернизации сельского хозяйства в интересах прежде всего, бюрократической технократии. Наиболее впечатляющий и глубокий опыт проведения фашистской аграрной модернизации продемонстрировали ключевые представители стран фашизма – Италия, Германия и Япония, которым также был присущ сильный элемент экспансионистской колониационной аграрной политики, отсутствовавший или ослабленный у других стран, подпавших под процессы фашизации в 1920-1930-е годы.

Итальянский фашистский режим имел собственные глубокие сельские корни [4; 5]. Муссолини и ряд его ключевых соратников были выходцами из сельских районов, особенно из долины реки По – традиционного региона интенсивной агрикультуры. В значительной степени из сельских регионов рекрутировались фашистские боевики, противостоявшие в политических столкновениях начала 1920-х годов городским движениям итальянских социалистов. Начало 1920-х годов было временем серьезных политических и экономических кризисов в Италии: безработица в промышленности, затруднения в аграрном секторе, перенаселенном и неспособном прокормить и обеспечить продовольственную безопасность итальянцев. Наконец, серьезные ограничения в эмиграционном законодательстве США, принятые в то время, поставили барьеры почти беспрепятственной миграции итальянцев в Америку, широко практиковавшейся в предшествующие десятилетия.

Модернизацию сельского хозяйства фашистский режим стремился проводить и через мобилизацию отдельных групп населения, например, объединяя подрастающие поколения в школах и университетах в аграрные союзы и создавая среди сельских женщин специальные активистские сельскохозяйственные организации с собственными газетами и радиопередачами. Все эти меры привели к определенным успехам аграрной экономики и сельского развития Италии: вырос сельскохозяйственный экспорт, уменьшилась зависимость страны от импорта продовольствия, тем более, что с середины 1930-х годов в Италии был провозглашен курс на автаркизацию национальной экономики. С другой стороны, в это же время Италия усиливает колониальную экспансию в Африке, разрабатывая специальные программы для увеличения числа ита-

льянских сельских колонистов в Ливии, а позже в Эритрии и Эфиопии. Впрочем, вскоре начавшаяся Вторая мировая война остановила итальянский колониализм в Африке, а затем и покончила с итальянским фашизмом.

В Германии национал-социалисты вырабатывали собственную аграрную политику и идеологию, основанную на знаменитом лозунге «Кровь и почва» [6; 7]. Нацистское видение так называемого «крестьянского Рейха» парадоксальным образом представляло собой комбинацию традиционных ценностей и образа жизни крестьян с амбициозными планами модернизации сельского хозяйства. Сельский дискурс достиг своего апогея в победной предвыборной кампании фашистов 1933 года, когда крестьянам были обещаны стабильные цены на их продукцию и гарантированные рынки для сбыта их товаров, а также постулировались уважение к традиционным крестьянским ценностям и их защита.

Главными идеологами аграрной политики германского фашизма были Рихард Дарре, министр сельского хозяйства и продовольствия, а затем сменивший его на этом посту Герберт Бакке. Дарре считался в большей степени романтическим идеологом-визионером, а Бакке слыл эффективным технократом и менеджером. Начиная с 1920-х годов Дарре был ответственным за написание аграрных блоков в нацистских политических программах и утверждал, что стремится спасти крестьян, их образ жизни от угроз индустриализации и урбанизации. Кроме того, с точки зрения расовой теории нацизма, Дарре обосновывал особое видение крестьянства, выраженное им в книге «Крестьянство как жизненный источник нордической расы» (1934): по его мнению, истинные германцы всегда предпочитали сельскую местность городским кварталам, поэтому оборона и развитие мелких крестьянских хозяйств должна была способствовать «расовой реинтеграции» германского народа. Дарре также мечтал об увеличении роли сельских элит в политической жизни Германии. При нацистах организовывались и расширялись специальные национальные празднества урожая, например, ежегодное празднество в Бюкеберге под Хамельном: десятки тысяч людей участвовали в этом грандиозном спектакле, кульминацией которого становились речи Гитлера и Дарре. По своим масштабам этот праздник превосходил даже знаменитые нацистские парады в Нюрнберге. Впрочем, с началом Второй мировой войны эти аграрные сборища были отменены. В рамках прагматичной нацистской аграрной политики достижение продовольственной самодостаточности страны стало базовой задачей, а конечной целью – абсолютная автаркизация экономики. В этом смысле нацисты скопировали кампанию Муссолини «Битва за хлеб» в собственной пропагандистской кампании «Битва за аграрное производство» – в Германии были организованы тысячи митингов в

сельской местности с призывами к расширению и модернизации крестьянских хозяйств.

Нацисты помнили о кошмаре продовольственных затруднений в Первой мировой войне и, готовясь к грядущим сражениям, не хотели повторять ошибок прошлого. Поэтому с 1933 по 1938 годы неуклонно возрастали инвестиции в сельское хозяйство. А в целом аграрное производство с 1927 по 1936 годы увеличилось на впечатляющие 28%. К началу Второй мировой войны Германия достигла самодостаточности в производстве таких важнейших продуктов, как хлеб, картофель, сахар и мясо, остальную часть сельскохозяйственных продуктов приходилось импортировать, и порой в значительных количествах, например, яйца и фуражный корм для лошадей. При этом нацистская пропаганда неустанно обращалась к крестьянству Германии с призывами проявить патриотическую сознательность в обеспечении страны продовольствием, особенно в условиях ее сползания в конце 1930-х годов в воронку новой мировой войны. Так, Г. Герринг в выступлении по радио в 1940 году обратился следующим образом к сельской Германии: «На ваших плечах, крестьяне и фермеры, крестьянки и сельские работники, лежит двойная ответственность. Проявите всю свою энергию. Покажите на что вы способны. Путь вам предстоящий будет бесконечно тяжелым и трудным». В возмещение надвигающихся жертв и страданий немецким крестьянам была обещана новая аграрная эра «крестьянского Рейха» по окончании войны: массированные инвестиции в аграрный сектор, к тому же расширяющийся за счет завоеванных жизненных пространств. В реальности начавшей войны правительство стремилось поддерживать низкие цены на продовольствие для успокоения населения, но в ущерб аграрным производителям – сворачивалось немецкое аграрное машиностроение из-за нехватки стали и угля, а также его перепрофилирования на выполнение оборонных заказов. Из сельской местности увеличивался исход мужского населения, мобилизуемого на фронты Второй мировой войны, все чаще плодородные сельскохозяйственные земли отводились под строительство военных аэродромов, лагерей и дорог.

Весьма оригинальный вариант фашистской аграрной идеологии являет собой история сельского развития Маньчжоу-го – японского марионеточного государства (1932-1945) [8; 9; 10]. Маньчжурия, состоящая из нескольких северных провинций Китая, попала под контроль Японии в 1920-е годы и систематически стала превращаться в японскую колонию с формальными признаками собственной государственности. Для бедной природными ресурсами Японии чрезвычайно важно было иметь обширную страну, богатую углем и железом, лесом и плодородными землями. Японским правительством в 1930-е годы были разработаны амбициозные планы как индустриального,

так и сельского развития Маньчжурии. Что касается маньчжурского сельского развития, то японцы разрабатывали симбиотическую аграрную утопию, объединявшую идеи синтоизма, аграризма и фашизма. С точки зрения своих практических интересов японцы стремились уменьшить аграрное перенаселение метрополии за счет организованного переселения японских крестьян в Маньчжурию. В это время средний земельный надел одного крестьянского хозяйства составлял от 1 до 2 га земли, что препятствовало рационализации и прогрессу японского земледелия. По планам правительства многим японским деревням предлагалось до половины своих односельчан отправить на сельскохозяйственное освоение Маньчжурии, и тогда оставшиеся в японской деревне крестьяне могли почти в два раза увеличить собственные наделы земли за счет соотечественников – маньчжурских колонистов. С другой стороны, прибывшие в Маньчжурию японские крестьяне должны были пополнить японское население многонациональной колонии, в которой сосуществовали китайцы, маньчжуры, корейцы, русские эмигранты и различные малые народности. До 1941 года из Японии в Маньчжурию прибыло 300 тысяч японских крестьян, а всего, с 1936 года по двадцатилетнему правительственному плану освоения Маньчжурии предполагалось переселить из Японии 5 миллионов крестьян.

Сельское расселение и развитие Маньчжурии преследовало три стратегические цели: создать барьер против распространения идей коммунизма со стороны Советского Союза; добиться автаркического самообеспечения продовольствием внутри японской колониальной империи; преодолеть последствия сильного и затяжного сельскохозяйственного кризиса, проявившегося во время Великой депрессии. Правительственные пропагандисты посещали деревни Японии с призывами отправиться на освоение маньчжурской целины, где землю для переселенцев обещали почти в неограниченных количествах. В газетных и журнальных очерках и статьях, даже в художественных произведениях описывались трогательные истории переселения японцев в Маньчжурию, принесших им счастье и процветание. При этом подчеркивалось, что аграрное государство Маньчжоу-го являет собой образец мирного симбиоза азиатских наций – китайцев, маньчжуров, корейцев под эгидой японцев. Этот симбиоз считался «третьим путем» между капитализмом и коммунизмом.

Идея такого «третьего пути» часто увязывалась с образцами организационных и идеологических мероприятий, которые осуществляли в нацистской Германии руководители ее сельского хозяйства Дарре и Бакке. Впрочем, японцы к копированию аграрных преобразований нацистов подходили творчески избирательно. Если в нацистском аграрном законодательстве евреи и цветные расы находились вне закона, то в аграрном

законодательстве японской Маньчжурии другие нации имели право заниматься сельским хозяйством, хотя японским крестьянам предоставлялся приоритет. Если в нацистской аграрной политике на специальную законодательную и экономическую поддержку могли рассчитывать хозяйства, земельная площадь которых находилась между 7,5 и 125 га, то в японской аграрной политике оптимальные размеры не оговаривались, и маньчжурские переселенцы, как правило, получали стандартный земельный надел в 10 га. Схожим в аграрных законодательствах обеих стран был приоритет мужчины – главы семейного крестьянского хозяйства, в сравнении с ним жена и дети имели гораздо меньше прав, т.е. аграрный патриархат был основой обоих аграрных режимов – нацистского и маньчжурского.

И нацистский, и маньчжурский аграрные режимы стремились развить своеобразные солидарность и коллективизм сельских сообществ, но если нацисты реализовывали эти затеи через распространение бюрократического корпоративизма в деревне, то японские милитаристы стремились обнаружить корни нового сельского маньчжурского коллективизма в идеях традиционного японского феодализма, где сельское сообщество представляло собой единую и дружную семью, основанную на иерархии патриархального управления. Наконец, оба аграрных режима ревностно относились к продаже и покупке земельных наделов, стараясь не допустить игру бесконтрольно свободного рынка с землей как часто ведущего к спекулятивным концентрации или дроблению семейных крестьянских наделов, что подрывало основания устойчивой экономики крестьянских домохозяйств и сообществ. В итоге аграрный колониальный инжиниринг в Маньчжоу-го завершился в 1945 году провалом, аналогичным колониальным катастрофам итальянских фашистов и германских нацистов.

Подводя итоги трем историческим кейсам аграрных фашистских реформ, необходимо отметить, что на первоначальном этапе их осуществления руководителям Италии, Германии и Японии удалось достаточно удачно и последовательно вовлекать сельское население в свои амбициозные планы сельского развития. Удивительное сочетание ценностей традиционного крестьянского мировоззрения с социальным инжинирингом технико-бюрократического аграризма приносило положительные плоды, о чем свидетельствуют цифры впечатляющего роста аграрных экономик Италии, Германии и японской Маньчжурии в 1930-е годы. Следует признать, что сельское население этих стран в целом позитивно встречало аграрные реформы, веря, что наконец-то государство, управляемое твердой рукой в интересах земледельцев, устанавливает более справедливый и гарантированный порядок для крестьян. Другое дело, что пропагандируемый фашистами крестьянский аграризм никогда не являлся целью, но средством упро-

чения фашистской власти, рвущейся в своих милитаристских планах к мировому господству. В результате на последующих стадиях эволюции фашистских режимов, инициирующих всемирные военные конфликты, часто именно сельское население оказывалось в эпицентре жертв и катастроф, связанных с гибелью фашизма.

Что касается России, то лучшего вопроса, чем масштаб государственного насилия над крестьянством в годы коллективизации, не найти для рассмотрения более широкого круга вопросов о месте и роли властно-административных структур в функционировании социально-экономических институтов сельского развития России на разных этапах большого исторического периода – от начала XX века по настоящее время. Чтобы приступить к рассмотрению данного вопроса в историографическом ключе, наиболее удачным мы считаем критический анализ некоторых важных результатов работы выдающегося российского историка-аграрника В.П. Данилова. Во-первых, с его именем связано проникновение идеологии и методологии крестьяноведения в отечественное обществоведение 1990-2000-х годов [11]. Во-вторых, в научном наследии Данилова предельно заострен вопрос об исторических судьбах главного социально-экономического института аграрного развития России – крестьянской общины.

Рассматривать судьбы общины в истории через анализ крутых зигзагов историографии проблемы чрезвычайно сложно, но то или иное решение этой задачи – необходимая часть и условие решения других задач. Так, в советской историографии в годы безраздельного господства методологии вульгарного марксизма, или «марксизма-ленинизма» (берем словосочетание в кавычки хотя бы потому, что, по выражению выдающегося английского крестьяноведа Т. Шанина, ни к Марксу, ни к Ленину скрывающаяся за ним идейная система особого отношения не имела), писать работы об общине XX века, особенно советского времени, было затруднительно. Считалось, что это пережиток феодализма, средневековья; и, если в добольшевистскую пору (до октября 1917) наличие этого крестьянского института можно было еще признавать (хотя это противоречило последующим претензиям советской идеологии на прорыв в светлое будущее), то о советской общине (хоть и нэповской) говорить и писать не рекомендовалось. Но Данилов о ней и писал, она была темой его докторской диссертации (по крайней мере, неотъемлемой составляющей темы). Однако в силу обстоятельств личной и профессиональной биографии историк вполне убежденно доказывал, что с началом политики форсированной коллективизации в начале 1930-х годов многовековая история главного института российского крестьянства – сельского мира, общины – в одночасье

завершилась, и пришедший на смену колхоз был в основных и принципиальных моментах ее полным антиподом [12, с. VI].

Приступая к краткой обзорной характеристике взглядов Данилова, отметим, что сам он не был готов к компромиссам со своими научно-коммунистическими оппонентами, последовательно занимая «шестидесятнические» позиции по вопросу о колхозе как могильщике общины. Но как же тогда удалось ему в 1977 году опубликовать в центральном советском издательстве «Наука» две свои монографии, в которых системно изложены результаты докторского исследования [13; 14]? Если внимательно вчитываться в страницы этих книг, несложно обнаружить, что многие догматические штампы политизированной советской аграрной историографии как бы искусственно подвёрстаны в текст в порядке редакторской правки, не вытекая из обилия данных, цифр, фактов, последовательность изложения которых и составляет логику ученого по общинному вопросу, и для советской аграрной историографии это характерное явление. Чем более глубоко исследуется историческая фактура, тем более искусственными, «притянутыми за уши» кажутся соответствующие догматы и аксиомы Краткого курса [15]. Это объясняется именно тем, что вульгарный марксизм советского типа, или «марксизм-ленинизм», является разновидностью теории прогресса, методологически ориентирован на модерн, городские прорывные технологии и т.п. (в чем нет ничего плохого, для исторического исследования советского экономического чуда пятилеток подходящий инструментарий). Но для исследования аграрного развития и крестьянских институтов это не годится: данная реальность либо остается за скобками исторических исследований, либо искажается, мифологизируется – чему и препятствует изучение фактов, т.е. того, как было, а не как должно было быть, по идее.

Данилов исходил из высокой степени развитости общинных институтов российской деревни к началу XX века. Но он также исходил из высокой степени зрелости таких социально-экономических институтов крестьянства, как различные формы сельскохозяйственной кооперации: кредитная, снабженческо-сбытовая и простые формы производственной кооперации. В этом он прочно опирался на теоретическое наследие А.В. Чаянова, которое в советское время было решительным образом дезавуировано, что лишний раз свидетельствует о последовательно оппозиционных взглядах ученого в отношении того, что теперь принято называть «мейнстримом» советской аграрной историографии. Данилов категорически отказывался признавать колхозную собственность в качестве кооперативной, всячески подчеркивая то, что его американский коллега и друг М.Л. Левин называл этатизацией сельского хозяйства (слово «коллекти-

визация» с его точки зрения было одним из очень характерных образцов ложного словоупотребления [16, с. 288]).

К началу 1990-х годов все эти взгляды, а также историческая эрудированность, знание фактуры и статистики в области эволюции аграрных институтов и отношений в России в первые десятилетия XX века привели Данилова к историческо-социологической концепции крестьянской революции в России 1902-1922 годов [17, с. 314, 319]. Данилов с воодушевлением принял теоретическое определение крестьянства, которое на основе многолетних исследований России и других стран крестьянской цивилизации разработал и предложил к научному обсуждению Шанин. Это произошло в ходе реализации одного из многих совместных проектов двух ученых-аграрников – теоретического семинара «Современные концепции аграрного развития. В этом определении общинная организация сельской жизни играет такую важную роль, что не будет большой натяжкой сказать, что в восприятии Шанина (и Данилова) понятия «крестьянин» и «община» во многом синонимичны. Наверное, Данилов, как никто другой в российском историческом сообществе, мог оценить всю революционность такой постановки вопроса для преодоления парадигм и стереотипов Краткого курса и модернизационного подхода. Особенностью Данилова как историка общины было то, что, будучи большим знатоком и приверженцем творчества и организационно-практической деятельности А.В. Чаянова как лидера организационно-производственного направления аграрных исследований, он полагал, что исторические перспективы эволюции крестьянской общины в России были ретроспективно связаны с ее кооперативным перерождением в принципиально иные структуры и социально-экономические институты. Иными словами, он говорил и писал о том, что аграрное развитие общинно-крестьянской России в XX веке могло бы пойти иначе, если бы не стечение ряда драматических обстоятельств и факторов – более субъективного, нежели объективного характера, приведших к коллективизации как завершению истории сельской общины в нашей стране. Эти обстоятельства и факторы он предлагал штудировать историкам, чтобы лучше осмыслить ретроспективный потенциал крестьянской кооперации.

Начиная с 1930-х годов основной социально-производственной единицей в сельской местности было уже не крестьянское хозяйство как одна из «организационных форм частно-хозяйственного предприятия» [18, с. 132], а коллективное хозяйство. На протяжении первых двух десятилетий своего существования колхозы представляли собой артельные объединения крестьян одной деревни или ее части и органично стали преемниками социальных функций сельской общины. Вековой опыт социальной само-

организации деревни послужил основой для того, чтобы новые коллективные практики крестьянского хозяйствования вписывались в эту самоорганизацию более или менее органично. В послевоенный период такие социально-производственные единицы, будучи одновременно и деревней, и колхозом, и неся в себе существенные черты прежней сельской общины, были интегрированы в процессы дальнейшей модернизации страны.

В послевоенные годы, решая проблему повышения эффективности сельскохозяйственного производства, государство ориентировалось на укрепление колхозов как управляющей системы, в которой традиционные крестьянские семейно-трудовые хозяйства как объект управления были в определенной мере и его субъектом. В деревне в то время имел место серьезный дефицит рабочих рук, а в семейно-трудовом хозяйстве «запас рабочей силы, ее состав и степень трудовой активности всецело определяются составом и размером семьи» [18, с. 132]. Руководство страны в те годы ощущало необходимость, опираясь на нормы и принципы, свойственные семейно-трудовому крестьянскому хозяйству, и на представления крестьян о себе как о хозяйствующих субъектах, т.е. как об организаторах собственной трудовой деятельности, ввести массу идентичных хозяйствующих субъектов – колхозов – в режим самоуправления. Оптимальным для них представлялся размер «колхоз-деревня», который позволял крестьянскому двору сохраняться, хотя и претерпевая значительные изменения. Примерный Устав сельхозартели узаконил его как ЛПХ, роль которого в историческом поиске баланса интересов крестьянства и государства была велика. В нем мотивировалось добросовестное самозабвенное крестьянское отношение к труду – в том числе в колхозе. Такое крестьянское дворохозяйство обнаружило в целом конформистское отношение к необходимости отказаться от хлебопашества и передать эту трудоемкую отрасль общественному сектору. А работа в колхозе стала одним из видов хозяйственной деятельности крестьян, заинтересованных в суммарном семейном доходе.

Нет оснований полагать, что базовые стереотипы и мотивы трудовой деятельности деревни резко изменились после коллективизации. Крестьяне, объединенные в колхозы, продолжали практиковать комбинацию из двух, казалось бы, взаимоисключающих поведенческих стратегий: «этика праздности» (или «рационализм пропитания») и самоэксплуатация. Сиюминутная комбинация этих стратегий определялась потребностями семьи, давлением государства и собственной оценкой, насколько разумно и справедливо это давление. Видимо, люди в руководстве – от председателя колхоза до И.В. Сталина – отдавали отчет во всем этом. Все дальнейшее развитие сельского хозяйства и экономики страны мыслимо было именно с опорой на колоссаль-

ный потенциал самоэксплуатации, свойственный крестьянству по определению. Директивно-адресное управление деревней представлялось нецелесообразным. Огромные задания, возложенные на колхозную деревню, привели к мобилизации трудового потенциала послевоенной артельной деревни, как властью и ожидалось. Из деревни черпались трудовые ресурсы для города и ей посредством неэквивалентного товарного обмена с промышленностью и государством предстояло вновь стать источником восстановления промышленности.

Для историков экономики на поверхности лежит и является приоритетным для исследования такой фактор серьезного разворота в аграрной политике партии, как значительное перераспределение бюджетных средств в пользу сельского хозяйства. Историческая справедливость такого решения не вызывает сомнений – слишком долго огромные средства на острые и неотложные нужды страны выкачивались из крестьянского хозяйства, из колхозов самыми варварскими методами, что установлено отечественной (и зарубежной) исторической наукой в подробностях. Вопрос в другом: должным ли образом осуществлялось это возвращение долгов деревне? Достаточно ли эффективно, целесообразно и теоретически обоснованно происходило это направление огромных средств государственного бюджета на нужды села? Здесь в историографии проблемы имеет место известная недооценка все того же фактора – ожиданий и не только крестьянских. Ожидалось новое «Лицом к деревне!» и **на всех уровнях** руководства сельским хозяйством. И на первых порах казалось, что действительно «Никита много делает» для сельского хозяйства. Чиновники с готовностью подхватывали самые фантастические и утопические инициативы вроде «агрогородов» и сселения деревень в центральные усадьбы для удобства централизованного руководства укрупненными колхозами и планирования производства в них.

Отрезвление стало приходить вместе с анализом того, как реагируют рядовые колхозники на новые веяния в политике. А они вели себя во многом неожиданно для реформаторов: отказывались покидать «неперспективные» деревни, а если и уезжали, то стараясь не отрываться от родных корней и уезжали не столько в обустриваемые центральные усадьбы новых укрупненных колхозов, сколько в районные и областные центры – в погоне за материальными преимуществами городской жизни. Кроме того, люди в новых условиях старались сосредоточиться на личном подсобном хозяйстве, в частности, для достижения того материального достатка, что провозглашался теперь одной из целей партийной политики в деревне. А это затрудняло рост показателей произ-

водительности труда в колхозах как ожидаемой отдачи от увеличения капиталовложений.

Война партийного руководителя против ЛПХ была связана с его категорическим нежеланием (или неспособностью) за симптомами увидеть болезнь, поскольку это было бы связано с признанием собственной теоретической несостоятельности, и Хрущев, перепутав причинно-следственные связи, принялся яростно искоренять симптомы. «Ошибочно констатируя свойственную крестьянству так называемую мелкобуржуазную сущность, за которой на самом деле скрывалось лишь стремление крестьян сосредоточиться на личном хозяйстве (институционально неотъемлемой части колхозного формата), Н.С. Хрущев искал способы ликвидировать условия, которые “развращают человека и превращают его в собственника”, который якобы стремится эксплуатировать чужой труд. Опасения Хрущева относительно наемного труда были преувеличенными. В связи с вложенностью ЛПХ в систему колхозного производства предприимчивость крестьян была строго ограничена пределами самоэксплуатации крестьянской семьи. Искоренять питательную почву якобы буржуазных тенденций в деревне не было никаких оснований» [19, с. 166-167]. Усольцева приводит некоторые данные статистики о сокращении поголовья скота в ЛПХ по Томской области с 1958 по 1964 годы, характерные для большей части регионов СССР. Приводится также характерная динамика сокращения численности колхозов по области как результат упорного следования руководства страны линии на укрупнение: 283 колхоза было в области в 1958 году; 142 – в 1960; 106 – в 1963; 83 – в 1964. А вместо единственного совхоза, числившегося в области с 1953 по 1959 годы, в 1960 их было уже 13, в 1964 – 16. В рамках излагаемого методологического подхода можно сказать, что если в 1930-е годы государственно-политическое руководство СССР проявило достаточно здравого смысла, чтобы Примерным уставом сельскохозяйственной артели (1935) конституировать определенные параметры личного подсобного хозяйства колхозников как «компромисса пропитания», то на рубеже 1950-х – 1960-х годов, когда в политической риторике появляется словосочетание «неперспективная деревня», ЛПХ было принесено в жертву доктринальным соображениям либерально-прогрессистского порядка.

Вопрос о реокрестьянивании деревни в постсоветский, постколхозный период новейшей истории, кажется, в аграрной литературе еще не ставился таким образом, поскольку «мейнстрим» нашей аграрной литературы, исторической или социологической, исходит из того, что раскрестьянивание советской деревни в 1950-е или 1970-е годы состоялось окончательно и бесповоротно. А это, в свою очередь, базируется на

трогательном совпадении обоих вариантов прогрессизма (коммунистического советской поры и антикоммунистического нынешнего) по вопросу об общине: архаика, о которой нечего вспоминать, но вспоминать приходится. И на новом витке социально-экономической эволюции родная деревня, кажется, может стать для многих центром притяжения. Ведь и формы «эксплоярной» экономики во многом были связаны с сельскими корнями большинства советских горожан. Теоретически сходное явление обосновывал Э. Вульф в монографии «Крестьяне», когда пытался загнать в таблицы и схемы ту объективную реальность, в которой обитатели аграрных обществ создают коалиции – двойные и множественные, целевые и многоцелевые, горизонтальные и вертикальные. Он полагал, что индикатором «крестьянственности» общества является склонность его граждан создавать множественные многоцелевые горизонтальные коалиции [16, с. 131-133]. «Реокрестьянивание» современной деревни и стремление следовать «крестьянскому способу производства» – из этого же смыслового ряда.

Исторически для сельского хозяйства характерны два принципиально различных технологических способа производства, суть которых сформулировали в 1971 году – землесберегающий и трудосберегающий способы ведения сельского хозяйства [20]: для землесберегающего способа производства характерно применение и выбор тех технологических решений, которые «экономят» землю, т.е. направлены на интенсивную эксплуатацию заданной земельной площади. Такая ситуация возникает при ограниченных земельных ресурсах и невозможности введения в сельскохозяйственный оборот дополнительных площадей: при задаче роста производства сельскохозяйственной продукции этот рост достигается за счет более интенсивного использования другого фактора производства – труда. При этом в понятие «труд» входит как чисто механическое увеличение человеко-часов на гектар, так и применение машин (т.е. капитала), которые могут замещать ручной труд. И в одном, и в другом случае задача одна – выжать из заданной земельной площади как можно больший урожай, не особенно считаясь с затратами других факторов производства. Трудосберегающая модель сельского хозяйства, напротив, направлена на экономию трудозатрат с гектара земли за счет повышения производительности труда и, следовательно, снижения затрат на рабочую силу.

Безусловно, данные модели не означают, что для землесберегающего технологического способа производства неважна производительность труда, а для трудосберегающего не имеет значения производительность земли. Просто исторически эти модели ставили во главу угла экономию дефицитных для них ресурсов – труда или земли – за счет использования дополнительных объемов иных факторов производства. Например, для землесберегающего технологического типа критическим будет использование удобрений, а для трудосберегающего – сельскохозяйственных машин.

Данные типы технологического способа производства в сельском хозяйстве имеют географическую и культурную привязку. Землесберегающий способ производства представлен условным Востоком, а трудосберегающий – условным Западом. Данные модели, безусловно, подвержены изменениям, которые особенно заметны в период глобализации и распространения научных достижений и цифровых технологий. Современная наука становится главным производительным фактором в сельском хозяйстве, экономя все остальные факторы производства, включая землю и труд. Тем не менее, исходные модели технологического способа производства образуют базис, на котором строится новое наукоемкое сельское хозяйство или осуществляется переход к нему.

Классической страной, представляющей исторически сложившийся землесберегающий способ производства, является Япония, для которой характерно малоземелье и аграрное перенаселение, т.е. избыток рабочей силы в сельском хозяйстве. Поэтому сельское хозяйство Японии исторически характеризовалось мельчайшими (с точки зрения земельной площади) производителями, основные усилия которых были направлены на повышение урожайности с имеющейся площади и абсолютным пренебрежением к экономии трудозатрат. Отсюда экономически выгодным считалось не производство продукции с минимальными издержками на человеко-час, а валовое производство продукции с единицы земельной площади. Таким образом, преимущество получали наиболее трудоемкие культуры, а скотоводство практически отсутствовало, поскольку требовало отвлечения драгоценной земли от растениеводства. То же самое касалось и сельскохозяйственных машин, которые не могли конкурировать с дешевым ручным трудом. Технический прогресс в сельском хозяйстве шел по линии удобрений и селекции, но не механизации. Подобная картина характерна для всех стран Южной и Юго-Восточной Азии.

Классической страной трудосберегающего способа производства являются США. Колонизация обширных земельных пространств и оттеснение коренного населения обусловили избыток земли и возможности продвижения сельскохозяйственного фронта, увеличивая, при необходимости, земельные площади в расчете на одно хозяйство. Это вызывало естественную экономическую мотивацию в увеличении отдачи от трудозатрат на единицу земельной площади, что подталкивало к механизации земледелия. Применение новых технологий приводит не только к снижению себестоимости продукции по труду, но и к увеличению продуктивности сельского хозяйства на единицу земельной площади, т.е. «козыря» землесберегающего технологического уклада.

В.Г. Растянников и И.В. Дерюгина [20] относят Россию к трудосберегающей модели технологического способа производства, хотя и отмечают зачатки землесберегающей модели. Это выглядит несколько странно, потому что проблема аграрного перенаселения и малоземелья была характерной для России на протяжении длительного исторического периода. Ссылки на А.В. Чаянова также выглядят не совсем убедительно, так как модель трудопотребительского баланса традиционной крестьянской семьи не вполне вписывается в дихотомию «землесберегающий-трудосберегающий способ производства» как построенную на иных основаниях. Земельные переделы при общинном землевладении также различались по тому, существовала ли община в ситуации малоземелья или нет: в первом случае земля скорее распределялась по едокам, чтобы

дать возможность прокормиться большим семьям, а при относительном избытке земли перераспределение шло по трудовому потенциалу семьи, т.е. по способности обрабатывать земельный надел. Обширные земельные ресурсы России, на которые указывают авторы, также стоит подкорректировать низкой урбанизацией (до последнего времени), а также тем, что по площади земли, пригодной для ведения сельского хозяйства, Россия уступит Китаю и Индии, т.е. странам с классическим землесберегающим сельским хозяйством. С другой стороны, начиная с коллективизации, история российского сельского хозяйства действительно пошла по модели трудосбережения. Урбанизация и механизация советского времени заложили его основы, а рыночные силы постсоветского времени обнажили существенные объемы «лишней» непривлекательной земли, прежде всего на Севере и Нечерноземье, обусловив дальнейшее выдавливание избыточных трудовых ресурсов из сельского хозяйства. Иными словами, основные черты трудосберегающей модели (лишняя земля и стремление к экономии трудозатрат) вполне просматриваются в современной России.

В результате классификации по данным признакам, были выделены четыре типа стран по степени выраженности того или иного технологического способа производства [20]: классический трудосберегающий, западноевропейский трудосберегающий, классический землесберегающий и ближневосточный землесберегающий способы производства. Типичными представителями классического трудосберегающего типа являются США, Канада, Австралия, Россия, Казахстан, а к западноевропейскому трудосберегающему типу относятся Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды, Испания, Италия и ряд других европейских стран. Типичными представителями классического землесберегающего типа являются страны Юго-Восточной, Южной и Восточной Азии – Япония, Китай, Корея, Индия, Индонезия, Филиппины (а также Египет, где землесберегающее сельское хозяйство сформировалось во второй половине XIX века). Ближневосточный землесберегающий технологический способ производства представлен странами Ближнего Востока и Северной Африки (кроме Египта), такими как Турция, Иран, Марокко, Алжир.

Классический трудосберегающий технологический способ производства исторически является развитием западноевропейского трудосберегающего способа в результате колониальной политики (заморских колоний – в случае Северной Америки и Австралии – или внутренних колоний в России). Сегодня он преобладает на территориях некоторых бывших колоний, а также в России, где традиционные ареалы проживания (Нечерноземье) теряют свое сельскохозяйственное значение, а южные земли раз-

виваются по трудосберегающему пути. Иными словами, данный технологический способ производства формировался на новых землях одновременно за счет экстенсивного расширения угодий и использования достижений науки и промышленности. Этот тип разительно отличается от классического землесберегающего сельского хозяйства по количеству земли на работника (разница от 20 до 100 и более раз). Напротив, фондовооруженность одного работника на порядки превышает страны классического землесберегающего типа, за исключением Японии. Различается и структура применяемого капитала: для трудосберегающего сельского хозяйства капитал призван заменить человеческий труд и потому применяется в форме сельскохозяйственных машин. Землесберегающий технологический способ производства направлен больше на применение капитала в виде внесения удобрений и мелиорации почв, а более высокая фондовооруженность приводит и к более высокой производительности труда. Промежуточное положение занимают Россия и Казахстан – со стороны трудосберегающего технологического способа производства вследствие меньших инвестиций в капитал сельского хозяйства, и Япония с Южной Кореей – со стороны землесберегающего технологического способа производства по причине относительно высоких инвестиций. Исторически технические нововведения в трудосберегающем сельском хозяйстве вводились для повышения производительности труда, а в землесберегающем – для увеличения продуктивности земли. Эти различия сохраняются, а порой и увеличиваются: усиливается разрыв в производительности труда в пользу трудосберегающего способа производства, и усиливается разрыв в продуктивности земли в пользу землесберегающего.

Западноевропейский трудосберегающий технологический способ производства лежит в основе классического трудосберегающего способа, однако лишен обширных запасов земли и основан скорее на мелких формах сельскохозяйственного производства. Тем не менее, за счет интеграции полеводства и животноводства, а также сельского хозяйства и промышленности, в рамках данного типа удалось достичь высокой степени капитализации и интенсификации сельского хозяйства, что повысило производительность труда и высвободило много лишних рук на селе, которые перетекали в города и промышленность, а также отправлялись заселять колонии. Ограничения по земле привели к тому, что работники обрабатывали меньшую земельную площадь, но применяли большие капитальные затраты на единицу земли по сравнению с классическим трудосберегающим способом производства. Типичным примером являются Нидерланды, которые по ряду показателей дают фору странам землесберегающего способа производства. Страны западноевропейского технологического способа направляют научно-тех-

нический прогресс в сельском хозяйстве как на рост производительности труда, так и на повышение продуктивности земли (удобрения, биотехнологии, точное земледелие и т.п.). За счет интенсивных капиталовложений страны западноевропейского трудосберегающего способа производства уже превзошли страны классического землесберегающего способа по продуктивности земли, хотя исторически именно последние были мировыми лидерами по этому показателю, т.е. западноевропейские страны демонстрируют сбалансированный путь сельскохозяйственного развития на основе наукоемкого производства.

Классический землесберегающий технологический способ производства характерен для стран Юга и Востока Азии, где все усилия сельскохозяйственной системы были направлены на повышение урожайности ограниченных земельных ресурсов за счет бесконечной интенсификации трудовых усилий. Отсюда классическая картина данного способа производства: мельчайшие наделы, высокая плотность сельского населения, ручной изнурительный труд. Научно-технический прогресс здесь направлен на усиление плодородия почв и потому не ведет к конвергенции с трудосберегающими моделями. Исключения – Япония и Южная Корея, которые сумели выровнять показатели с трудосберегающими способами производства в сельском хозяйстве. Яркий пример классического землесберегающего способа производства – Китай, где до сих пор наблюдается аграрное перенаселение, мизерный размер земельной площади на работника, низкая фондовооруженность сельскохозяйственных работников (в 100-200 раз ниже, чем в трудосберегающих моделях сельского хозяйства), низкая производительность труда и высокая продуктивность земли.

Ближневосточный землесберегающий технологический способ производства занимает промежуточное положение по степени экономии труда в сельском хозяйстве. По этому показателю он существенно уступает трудосберегающим способам производства, но заметно превосходит классический землесберегающий способ производства. Данный тип неустойчив и может дрейфовать в любую сторону, например, Египет переместился в классический землесберегающий способ производства, а Турция демонстрирует тренд на трудосбережение.

Если западные футурологические рассуждения сегодня касаются траекторий будущего развития, то российские ученые скорее стремятся оценить верность футурологических прогнозов прошлого в большей степени для прошедшего и настоящего времени. Применительно к сельскому развитию речь может идти, например, о взглядах двух выдающихся ученых начала XX века – Александра Богданова и Александра Чаяно-

ва, представленных в их утопиях, которые в художественной форме запечатлели существенные черты социально-экономических и культурно-этических воззрений этих мыслителей – монизм и индустриализм Богданова, а также плюрализм и аграризм А. Чаянова.

Обоим ученым пришлось, каждому в свое время, проявить себя и на поприще политики. Богданов в начале XX века становится наряду с Лениным одним из ключевых лидеров партии большевиков. Впрочем, еще до Первой мировой войны из-за идейных и организационных партийных конфликтов он отходит от политики, предпочтя до конца жизни заниматься научной и литературной деятельностью. Чаянов был одним из вождей политического объединения российских кооперативов и заместителем министра земледелия в составе Временного правительства в 1917 году. Затем принимал активное участие в решении многих ключевых вопросов экономической политики советской России, например, в период военного коммунизма отстаивал возможность определенной автономии кооперативных финансов в жестко централизованной советской экономике.

В годы НЭПа с учетом научных разработок Чаянова и его коллег-аграрников в значительной степени формировались планы сельскохозяйственной политики СССР, а идеи Богданова о социалистическом планировании привлекли внимание политиков и ученых Госплана, других высших государственных органов советской власти. В 1920-е годы оба ученых зарекомендовали себя и талантливыми организаторами самых современных и продуктивных научно-исследовательских учреждений в СССР: Чаянов стал директором НИИ сельскохозяйственной экономики, а Богданов возглавил НИИ переливания крови.

Вместе с тем и Богданов, и Чаянов с первых месяцев установления советского строя оказались и его проницательными критиками. Их анализ сути военного коммунизма [21] и государственного коллективизма [22] советского строя по-прежнему актуальны для постижения исторического и логического путей формирования и развития авторитарных экономик коммунистического типа. Естественно, столь ярко и критически мыслящие ученые в эпоху тотальных политических и идеологических войн и революций начала XX века имели многочисленных противников, самые влиятельные из которых предопределили многолетнюю политическую травлю как «махиста» и «механициста» Богданова [23] и как «мелкобуржуазного неонародника» Чаянова [24], которая завершилась безвременным уходом из жизни обоих ученых и посмертным искажением и забвением их реального вклада в российскую и мировую науку.

О любом крестьянстве, во всех своих социально-политических сочинениях Богданов всегда отзывался скупой, часто неприязненно, отмечая мелкобуржуазную бес-

перспективность этого архаического класса, легковверного до степени поддержки всякого рода консервативно авторитарных вождей, обреченного быть лишь сырьем для экспансии городской цивилизации. Потому в XX веке уже не упоминается о крестьянстве вообще, зато повсюду описываются приметы высокоразвитой индустриально-городской цивилизации, которая без труда обеспечивает себя продовольствием и сырьем – отчасти за счет высокомеханизированной обработки гигантских и давно обобществленных сельхозугодий, отчасти за счет перехода на изготовление искусственных продуктов, когда-то получавшихся из сельскохозяйственного сырья.

Чаянов легко допускает, что мировая коммунистическая революция, все и вся обобществив, стремительно и повсюду победила уже к 1921-м году. Постигая историю из 1984 года, его главный герой убеждается, что «мировое единство социалистической системы держалось недолго, и центробежные социальные силы весьма скоро разорвали царившее согласие» [25, с. 165]. Этими силами в различных регионах мира оказывались национализм, амбиции политических лидеров, олигархия, и коррупция. Мир прошел и через новые кровопролитные войны, и через новые социальные перевороты. В результате к 1984 году сформировалась композиция из пяти достаточно автономных и разнообразных социально-экономических систем – Русской, Германской, Англо-Французской, Американской, Японо-Китайской, заживших на культурно-экономических основаниях, наиболее им исторически присущих. В России господствовал строй смешанной экономики, в центре которой крестьянский кооперативизм сочетается с мощным госсектором и отчасти капитализмом. В Германии сложилась централизованная социалистическая система советского типа, в Англо-Французской и Американской экономических системах можно обнаружить разновидности капитализма, в Японо-Китае сформировался своеобразный феодализм. Особенность российской социально-экономической системы заключается в драматической борьбе и решающей победе в середине XX века села над городом, созидании общества крестьянской цивилизации.

В результате перед читателем открывается картина страны, преодолевшей фундаментальное противоречие между городом и селом посредством активной экспансии села: «Деревня приняла необычный для сельских поселений вид. Вся страна образует теперь кругом Москвы на сотни верст сплошное сельскохозяйственное поселение, прерываемое квадратами общественных лесов, полосами кооперативных выгонов и огромными климатическими парками. В районах хуторского расселения, где семейный надел составляет 3-4 десятины, крестьянские дома на протяжении многих десятков верст стоят почти рядом друг с другом, и только распространенные теперь плотные кулисы тутовых и фруктовых деревьев закрывают одно строение от другого. В сущности,

теперь пора бросить старомодное деление на город и деревню, ибо мы имеем только более сгущенный или более разреженный тип поселения того же самого земледельческого населения. Вы видите группы зданий... несколько выделяющихся по своим размерам. Это – «городища», как принято их теперь называть. Местная школа, библиотека, зал для спектаклей и танцев и прочие общественные учреждения. Маленький социальный узел. Теперешние города такие же социальные узлы той же сельской жизни, только больших размеров» [25, с. 194].

Безусловно, в своих утопиях Богданов и Чаянов стремились в формах художественной фантазии воплотить сущностные черты своих взглядов на перспективы развития их главных социальных героев – рабочего и крестьянина. Для Богданова пролетарий в момент зарождения (еще на мануфактурной стадии) – это дробная, усеченная частичка человеческой личности. Лишь в дальнейшем процессе капиталистической индустриализации происходит его развитие, собирание, самоорганизация и самопознание. По Богданову, пролетариат – это товарищество коллективного труда, в процессе которого происходит становление новой гармоничной человеческой личности. Но крестьянин по Чаянову – это совершенно другой социальный тип: в отличие от юного индустриального пролетариата, крестьянство – древний социальный класс. Богданов ставит задачу выработки пролетарской культуры, а крестьянская культура существует испокон веков, и в ней крестьянин есть, прежде всего, семьянин среди природы.

Трагедия заключается в том, что два энциклопедических ума прохладно относились к селско-городским противоположностям своих излюбленных классов. Они – яркие представители двух мощных соперничающих идеологических тенденций своего времени – урбанизма и аграризма. Первая тенденция в начале XX века являлась, безусловно, господствующей – это вера в то, что индустриальная урбанизация полностью преобразит производительные силы планеты и в самое ближайшее время индустрия города окончательно победит сельскую жизнь деревень. Впрочем, в это же время в ряде стран Центральной и Восточной Европы, особенно в Германии и России существовало и достаточно влиятельное направление аграризма, отстаивавшего ценности сельского образа жизни в условиях все ускоряющегося технического прогресса. И, конечно, аграристы критиковали урбанизм за дымные фабрики, городские столпотворения, опасности социальной дифференциации, возникающие экологические проблемы. Аграристы полагали, что с развитием науки и техники и сельский образ жизни, и аграрные науки, и сам крестьянин могут получить «второе дыхание» – реализации ранее невиданных возможностей. Именно к таким ярким представителям аграристов относился Чаянов, тогда как Богданов фактически игнорировал аграрную сферу развития челове-

чества. Следует признать, что и Чаянов, несмотря на его неутомимый интерес к различным сторонам существования и развития человеческого общества, в основном лишь тривиально скептически отзывался об индустриализме и урбанизме.

3 Компаративистский анализ элементов разных моделей аграрного развития в реформаторских проектах со сходными или, наоборот, противоположными сценариями аграрного развития

В последние годы метафора «экономическое чудо» стала устойчивым обозначением итогов нескольких десятилетий бурного социально-экономического развития китайского общества. Однако схожее единодушие не наблюдается в объяснениях причин подобного «чуда», и вряд ли можно разделить исследователей этого экономического феномена даже на условных сторонников и противников реализуемой Китаем модели развития: во-первых, она не статична и неоднократно подвергалась серьезным идеологическим и практическим трансформациям; во-вторых, сегодня просто невозможно серьезное обсуждение достоинств и недостатков капитализма и социализма как совершенно противоположных, непересекающихся и несовместимых альтернатив.

Не претендуя на экспертное суждение в области оценок «китайского экономического чуда», попробуем все же выделить отчетливо оформившиеся варианты его дискурсивной презентации, опираясь на несколько показательных работ, переведенных на русский язык в последние годы. Итак, первая объяснительная модель китайского экономического чуда представлена в книге Чжан Юя «Опыт китайских экономических реформ и их теоретическая значимость» [26]. В лаконичной аннотации работа заявлена как обобщение опыта китайских экономических реформ доктором экономических наук и профессором Китайского народного университета. Книга написана в нехарактерном для российской академической традиции (и даже для научно-публицистического жанра) стиле (рубленные фразы, политизированные констатации, отсутствие определений ключевых понятий) и формате (отсутствует введение, заключение и библиография, постраничные сноски немногочисленны, в основном ссылаются на вторичные источники без указания конкретных страниц). Содержательно (что типично для китайской научной литературы, хотя здесь встречаются и схожие с российским академическим письмом тексты, особенно по материалам эмпирических исследований) значительную часть книги составляют оценочные суждения, которые можно использовать в качестве оптимистичных лозунгов, а в качестве их обоснования, как правило, приводятся цитаты из речей и работ политических лидеров Китая.

В изучении китайской экономики Чжан Юй выделяет несколько уровней: исследования принятых мер (реформ) он считает полезными, но поверхностными в том смысле, что они посвящены реальным вопросам, но далеки от фундаментальной тео-

рии; анализ фундаментальных экономических теорий (социалистическая плановая и рыночная экономики, подходы к реформам, статус государственного сектора, третья промышленная революция и пр.) кажется ему абстрактным, но важным для понимания законов развития экономики и разработки экономической политики. Основную проблему Чжан Юй видит в том, что экономическая наука Китая – «еще незрелая наука: собственные фундаментальные теории слабы, заимствуются и копируются экономические теории Запада, которые далеки от китайской реальности. Исследования и научные инновации экономической теории по-прежнему значительно отстают от практики и требований времени. В определенном смысле это нормально... Пока система социалистической рыночной экономики не сформировалась, а социалистические модернизации не завершились, невозможно разработать совершенную теорию», поэтому необходимо «поддерживать и развивать марксистскую политэкономия, китаизировать и модернизировать ее» [26, с. 9].

Опору на марксизм автор обосновывает тем, что это наука, «инновационное развитие которой можно стимулировать на базе практической реализации политики реформ и открытости», а также тем, что пока существует капиталистический строй и связь между трудом и капиталом, основные принципы марксизма не устареют. Чжан Юй предлагает опираться на марксизм как теорию будущей социалистической экономики (замена частной собственности на средства производства государственной, достижение всеобщего благосостояния и пр.), не игнорируя и не упрощая взгляды классиков марксизма, но расширяя и корректируя их согласно действительности (например, утверждение Маркса и Энгельса об отсутствии товарно-денежных отношений при социализме), «непрерывно стимулируя китаизацию марксистской экономической науки» (дополняя и обогащая основные принципы научного социализма китайской спецификой), адаптируя теорию к современным условиям и «стимулируя модернизацию марксистской экономической науки» [26, с. 15].

Подобная терминология странно выглядит в работе, претендующей на теоретико-научный характер, но автор неоднократно подчеркивает, что его приоритетная задача – показать превосходство социалистического строя на примере китайской политики реформ и открытости как снимающей противоречие между производительными силами (основная движущая сила прогресса) и социалистическими ценностями (идеал упорных поисков и борьбы). По мнению автора, высокие темпы экономического роста в Китае породили такие «капиталистические явления», как социальная поляризация, коррупция и эгоизм, поэтому необходимо обозначить четкие критерии развития

производительных сил и их взаимодействия с производственными отношениями. Обобщая исторический опыт социалистического строя, Чжан Юй считает необходимым объединить развитие производственных сил и социалистических ценностей для искоренения эксплуатации и поляризации и достижения всеобщего благосостояния. Он уверен, что Китай движется в этом направлении, поскольку уже пережил четыре состояния: успешное развитие социалистической экономики; избыточный акцент на развитии производительных сил или на ценностных приоритетах социализма и коммунизма; игнорирование развития производительных сил ради сохранения социалистического пути и уничтожения проявлений капитализма; и, наконец, фокус на развитии производительных сил и игнорирование социалистических ценностей.

Чжан Юй полагает, что развитость капиталистической экономики заставляет людей верить в ее эталонность, априорность и надисторичность, что неверно уже хотя бы потому, что эта модель неприменима к нерыночным системам. В то же время он не претендует на то, чтобы опыт Китая (результат национальных особенностей страны) применялся к другим странам, предлагая уважать специфичность и единичность, не укладывающиеся в рамки политэкономического мейнстрима. Китай предложил особое решение общих проблем многих стран, особенно развивающихся, выдвинув теорию социалистической рыночной экономики, т.е. речь идет, согласно Си Цзиньпину, о «развитии специфичности до универсальности» – практический опыт Китая предлагает множество новых способов решения национальных и глобальных проблем (например, «сильное вмешательство государства – необходимый фактор модернизации в развивающихся странах» [26, с. 58].

Соответственно, сегодня китайская экономическая модель сочетает следующие элементы: разные типы собственности при доминировании общественной (классический марксистский базис); многоструктурная рыночная система, подчиненная государству в лице Коммунистической партии (органичное сочетание рыночного и государственного, прямого и непрямого регулирования, централизации и децентрализации); многоаспектная система расширения внешних связей с опорой на собственные силы (экономическая глобализация считается стимулом рационального распределения ресурсов и развития производительных сил всех стран, а не инструментом расширения капиталистических отношений и неравенства до глобальных масштабов); взаимное стимулирование индустриализации нового типа и информатизации (системные инновации); постепенные и умеренные преобразования для устранения недостатков плановой системы и разумного сочетания социализма и рыночной экономики «сверху» и «снизу».

Автор не отрицает, что китайская модель еще несовершенна, поскольку не решила ряд важных проблем (экологических, безработицы, коррупции, социального расслоения и др.), но отвергает критику рыночных реформ в Китае как неправильных со стороны «новых левых» и неолиберальную критику китайского варианта социализма как сдерживающего приватизацию, либерализацию и интернационализацию, и настаивает, что китайскому обществу следует идти не по пути перестройки, а по пути совершенствования выбранной модели социализма с китайской спецификой.

Вторую объяснительную модель китайского экономического чуда предлагает книга Линь Ифу «Демистификация китайской экономики» [27], написанная по итогам десяти лет чтения курса лекций по экономике студентам Пекинского университета. В предисловии автор фактически ставит те же задачи, что и Чжан Юй: за пределами Китая «научные круги, политики и общество в целом очень поверхностно понимают механизмы функционирования китайской экономики..., отталкиваясь от уже существующих экономических теорий..., их анализ и изучение сути проблемы нередко смешиваются с идеологическими и политическими предрассудками..., а потому их прогнозы и оценки неизменно рушатся.... Необходимо создавать новые теоретические конструкции с учетом китайской специфики и по результатам скрупулезного анализа стараться понятным языком донести до зарубежных исследователей суть экономических успехов, достигнутых в результате политики реформ и открытости (хотя она привела и к серьезному дисбалансу в обществе), обозначить существующие трудности, а также перспективы дальнейшего развития. Этими разработками должны заниматься именно китайские экономисты» [27, с. 4]. Кстати, Чжан Юй упоминает Линь Ифу – как представителя западной теории переходной экономики, который связывает медленное развитие Китая с приоритетной поддержкой тяжелой промышленности в рамках стратегии «догнать и перегнать», т.е. утверждает, что реформы запустили быстрое развитие страны благодаря возрождению традиционной системы экономики – по низкозатратному, низко рискованному и приносящему быструю выгоду пути постепенных изменений посредством использования сравнительных ресурсных преимуществ. Сам Линь Ифу разрабатывает модель развенчания мифов о китайской экономике и «ренессансе китайской нации», называя свою книгу импульсом к началу широкой дискуссии и построению теорий о направлениях дальнейшего экономического развития не только китайского общества.

Реконструируя основные этапы в истории китайского общества на протяжении нескольких столетий, Линь Ифу показывает, что уже в последней четверти XIX века все

политические силы страны признавали необходимость кардинального слома социально-политической системы, но ее изменения запаздывали или носили частичный характер, поэтому Китай оставался отсталой страной. Только в 1920-е годы китайские интеллектуалы признали важность не только социальных и политических институтов иного типа, но и их идеологической составляющей, и «в 1921 году, после образования Коммунистической партии Китая, из “небольшой искры” социалистического кружка разгорелось общественное движение, которое смогло сплотить всю страну» [27, с. 87]. Распространение социалистических идей в Китае автор связывает с антизападными настроениями (поэтому столь легко была воспринята идея иных, чем западные, институтов и три принципа Сунь Ятсена – национализм, демократия и народное благосостояние на принципах коммунизма) и дружескими отношениями с СССР на фоне нарастания экономических проблем Запада в духе прогнозов К. Маркса. В Китае ленинская модель социализма, сработавшая в Советском Союзе, потерпела крах по причине иных исторических условий (например, в России промышленность была сосредоточена в городах, а в Китае в иностранных концессиях): «нужно крайне осторожно использовать иностранный опыт – даже самые незначительные различия в условиях могут привести к противоположным результатам. Никакая теория не должна восприниматься как догма... И даже если теория была доказана на примере одной страны, она не обязательно окажется применима в другой» [27, с. 92].

После образования КНР началось активное социалистическое строительство с курсом на индустриализацию (прежде всего, развитие тяжелой промышленности) в кратчайшие сроки и по советской модели – в рамках плановой экономики (с 1949 по 1978 годы). Однако последняя показала свою несостоятельность по самым разным причинам, которые в итоге привели к распределению ресурсов с помощью административной системы (искажения цен, нормирования ресурсов, прямого контроля за распределением излишков и вмешательства государства в управление предприятиями), т.е. к исчезновению рыночной конкуренции. В селах плановая экономика основывалась на государственной монополии на закупки и сбыт (жесткий контроль цен), коллективизации (отпала необходимость в межевании полей, что способствовало экономии земли; правительство хотело закупать сельхозпродукцию по заниженным ценам, а крестьяне не желали расширять производство, что и стало причиной коллективизации), продовольственной самодостаточности регионов («мэр следит за корзиной с овощами, а губернатор – за мешком с рисом») и разделении города и деревни с помощью системы регистрации домохозяйств хукоу (ограничение мобильности сельского населения, чтобы

избежать безработицы среди горожан и не позволить сельскому населению использовать городские дотации и субсидии) – все это позволяло максимально концентрировать излишки в городах для развития промышленности, но привело к столь разрушительным последствиям в селах, что кризис 1959-1961 годов вызвал массовый голод.

По мнению Линь Ифу, нельзя считать плановую экономику абсолютно неэффективной – с момента перехода на нее в 1953 году китайская экономика смогла решить ряд принципиальных вопросов: мобилизовала излишки, обеспечила накопление капитала и рост инвестиций в тяжелую промышленность, добилась стабильных темпов роста промышленного производства, аналогичных развитым странам (до начала политики реформ и открытости – 6% в год). Однако цена этих достижений была высока: структурные дисбалансы – развитая тяжелая промышленность в отсталой аграрной стране, где более 70% рабочей силы было занято в сельском хозяйстве; ориентация производства на тяжелую промышленность, а не на потребности людей, т.е. незначительный рост потребления; увеличение разрыва в доходах и потреблении города и села.

В качестве объяснения «китайского экономического чуда» Линь Ифу предлагает теорию жизнеспособности и сравнительных преимуществ. Так, развитие тяжелой промышленности как стратегия догоняющего развития в Германии согласовывалась с ее сравнительными преимуществами (политика «железа и крови»), и государство использовало административные механизмы инвестирования в тяжелую промышленность в условиях низкой мобилизации капитала и рассредоточения средств в аграрном секторе. Аналогичным образом успешной стала промышленная политика Японии, направленная на приоритетное развитие автомобилестроения, тогда как в Китае и Индии развитие тяжелой промышленности и автомобилестроения противоречили их сравнительным преимуществам. Суть стратегии сравнительных преимуществ в Китае состоит в том, чтобы накапливать капитал для совершенствования структуры обеспечения факторами производства, благодаря чему ускорить темпы экономического роста и добиться макроэкономической стабильности. Реализация этой стратегии с конца 1978 года осуществлялась в рамках курса на постепенные «двухколейные» реформы (а не «шоковую терапию»), которые оказались успешными, несмотря на убеждение многих западных исследователей, что «худшим вариантом является путь смещения плановой и рыночной экономик» [27, с. 199].

Третья объяснительная модель китайского экономического чуда представлена в книге – Рональда Коуза и Нина Вана «Как Китай стал капиталистическим» [28]. Она была опубликована на русском языке ранее двух рассмотренных работ, и потому, казалось

бы, должна была идти в тексте первой, следуя временной последовательности публикации трех книг. Однако содержательно она должна завершать обзор трех дискурсов о «китайском экономическом чуде» по двум причинам: во-первых, в книге Коуза и Вана нет историографической части, их повествование начинается с деятельности Мао Цзэдуна, т.е. хронологически сфокусировано на недавнем периоде китайской истории (лишь в заключительной главе авторы упоминают отдельные факты из древней истории Китая – торговые отношения между отдаленными населенными пунктами, хождение бумажных денег и процветающие рынки в эпоху династий Тан, Сун, Мин и Цин, но исключительно для подтверждения открытости китайской цивилизации внешнему миру и ее не чуждости капитализму); во-вторых, если две другие книги воздерживаются от однозначных оценок нынешнего состояния китайского общества, отмечая продолжение здесь трансформационных процессов, то Коуз и Ван уже в названии книги ставят Китаю окончательный диагноз – страна стала капиталистической – и объясняют читателю, как это стало возможным в столь короткие по историческим меркам сроки и в столь не склонной к капиталистической модели развития стране.

Их главное утверждение, противоположное основной идее Чжан Юя, состоит в том, что переход КНР от коммунистической системы к капитализму был обусловлен не продуманной программой экономических реформ китайского партийного руководства, а стихийной чередой событий, а потому быстрый и относительно безболезненный переход Китая к капитализму оказался полной неожиданностью для всех в соответствии с концепцией Ф. фон Хайека о «непреднамеренных последствиях человеческих действий». Эта неожиданность объясняется тем, какой страна была после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году: разгар «культурной революции», начатой десятилетием ранее после жестких политических кампаний, призванных приблизить наступление социализма; последствия массового голода, разразившегося в результате непродуманных революционных преобразований; утрата связи с культурными традициями и достижениями научно-технического прогресса; отсутствие стратегии дальнейшего развития; неудачные попытки перестроить социалистическое хозяйство еще при жизни «великого кормчего» и т.д. .

Экономические реформы Мао Цзэдуна Коуз и Ван связывают с глубоким недоверием к централизованной власти и стремлением отойти от ортодоксальной/сталинской модели социализма: прежде всего, это децентрализация системы управления, призванная перераспределить власть в пользу органов местного самоуправления, которые получили больше автономии в экономическом планировании, распределении ресурсов,

бюджетной, налоговой и кадровой политике и стали управлять большинством государственных предприятий, что должно было обеспечить «большой скачок вперед», но превратилось в «рукотворную трагедию». В отсутствие контроля, желая сохранить посты и не вызвать недовольства Пекина, местные администрации фабриковали отчетность, а средства массовой информации не допускали критических выступлений несогласных и замалчивали политически опасные сообщения о голоде, поэтому Китай продолжал наращивать экспорт зерна и выплавку стали в кустарных доменных печах в сельских районах даже тогда, когда миллионы крестьян умирали от голода. Причиной катастрофы была не децентрализация и «большой скачок вперед» как таковые, а их осуществление в условиях «антирыночной ментальности, строгого контроля над внутренней миграцией, монополии государства на средства массовой информации и радикального антиинтеллектуализма» [28, с. 36].

Как только Китай перешел к политике открытости, стали расти объемы внешней торговли и внешних инвестиций, в страну хлынул поток потребительских товаров. Однако руководство страны было заинтересовано в увеличении экспорта за счет своих сравнительных преимуществ – самостоятельного производства на основе импорта/заимствования технологий. Зарубежные командировки китайских лидеров убедили их, что главное условие экономической успешности – не децентрализация власти, а самостоятельность госпредприятий, поэтому главным направлением реформы экономики стало расширение самостоятельности крупных госпредприятий, которые погрязли в бюрократизме, были нерентабельны и выживали только за счет государственной поддержки. Проведенные в начале 1980-х годов реформы повысили эффективность госпредприятий – увеличили объемы производства, повысили доходы рабочих, ввели систему контрактов на основе компетенций руководителей, покончили с монополией централизованного планирования в промышленном производстве (выполнив план, предприятия могли сами решать, что производить). В итоге была создана «двухрельсовая система» – в госсекторе сосуществовало централизованное плановое регулирование и рыночные элементы, вернее «стагнирующий госсектор и быстрорастущий негосударственный сектор». Однако состояние экономики не улучшилось, более того, поскольку предприятия стали удерживать часть прибыли для инвестирования и выплаты компенсаций сотрудникам, налоговые поступления в госбюджет сократились, поэтому реформы были приостановлены.

В то же время на периферии экономики, слабо контролировавшейся государством, наметились важные сдвиги, инициированные «снизу», – «произошла серия пе-

риферийных революций, в результате которых частные предприятия вновь заняли достойное место в экономике, а страна встала на путь рыночных преобразований» [28, с. 77]: во-первых, в сельском хозяйстве аграрная реформа – деколлективизация и введение системы производственной ответственности крестьянских хозяйств – шла «снизу», фермерство долго скрывалось под разными масками, и только в 1980 году индивидуальное предпринимательство на селе было разрешено только там, где коллективизация провалилась (в беднейших районах). Вторая периферийная революция – сельская индустриализация, начавшаяся благодаря волостным и поселковым предприятиям, которые обеспечили работой не занятых в сельском хозяйстве крестьян и сыграли решающую роль в переходе к рынку и развитию негосударственного сектора, несмотря на враждебное отношение властей и дискриминационные меры (ограничение доступа к сырью, электроэнергии, кредитам и потребительским рынкам). Третья периферийная революция состояла в том, что в городах с 1979 года были разрешены «индивидуальные хозяйства» – как «дополнение и добавление к социализму», призванное решить проблему безработицы (официально призваны в 1981 году, но до 1992 года подвергались неофициальной дискриминации и работали в условиях многочисленных ограничений). Наиболее значимой периферийной революцией, положившей начало рыночным преобразованиям, Коуз и Ван считают создание особых экономических зон – первоначально в Шэньчжэне («китайский ответ Гонконгу»), а затем во множестве прибрежных городов. Эти зоны должны были «поставить капитализм на службу социализму» и стать «лабораториями для экспериментов с капиталистическими принципами во благо социализма».

Коуз и Ван категорически отвергают любые попытки государственнической интерпретации экономических реформ в КНР (как проведенных «сверху»): само китайское руководство неоднократно признавалось в поисках путей реформирования и не раз было застигнуто врасплох протестами и низовыми формами самоорганизации на рыночных основаниях, т.е. «превращение Китая в одну из крупнейших экономических держав мира не происходило по плану, начертанному всеведущим правительством» [28, с. 266]. За прошедшие десятилетия роль государства и доля госсектора в экономике сократилась, а КПК отказалась от статуса «авангарда социалистической революции» и стала обосновывать свою легитимность эффективностью управления и повышением уровня жизни народа. И, кстати, авторы сомневаются, что политический режим Китая когда-либо в принципе можно было называть коммунистическим в классическом смысле слова: Мао Цзэдун с товарищами «редко когда серьезно изучали марксизм», предпо-

читая китайскую классику (конфуцианство) произведениям Маркса и Ленина; КПК всегда была китайской в большей степени, чем коммунистической; исторически страна не была чужда свободной торговле и частному предпринимательству. Соответственно, «в грядущие десятилетия капиталистический Китай обязательно останется китайским в той же мере, в какой им был Китай социалистический, несмотря на жестокое уничтожение национальных традиций в XX веке» [28, с. 303].

Если в реконструкции сценариев китайского социально-экономического развития мы опирались преимущественно на опубликованные источники, то аналогичное описание бразильского «кейса» строится на ряде экспертных интервью. В частности, ведущий бразильский социолог в области сельского развития, профессор Федерального университета Рио Гранде-де-Сул Сержио Шнайдер дал интервью главному редактору журнала «Крестьяноведение» А.М. Никулину, которое было опубликовано под названием, хорошо отражающим одну из очень существенных сторон настоящей работы – «В совместных сравнительных исследованиях мы еще многому научимся друг у друга» [29]. В интервью затрагиваются проблемы, связанные с изменениями последних десятилетий в жизни сельских и городских сообществ Бразилии, вопросы возникновения и развития сельской социологии в Бразилии, влияния на нее немецкой, французской, американской и английской историко-социологических традиций в анализе многообразных аспектов аграрных отношений, взаимодействия городских и сельских институтов, вопрос об актуальности компаративистских сельско-городских исследований, в которых изучение аграрно-исторических сюжетов Бразилии, России, Китая, переплетающихся и сталкивающихся, обнаруживающих в чем-то подобие, в чем-то принципиальные различия, способно давать новое и своевременное знание.

Второе интервью было проведено с профессором Университета Бразилиа Сержио Зауэром, который предоставил нам реферативные англоязычные обзоры работ бразильских специалистов по исследованию аграрных институтов и процессов на предмет выяснения потенциальных возможностей компаративистики в данной области знания. В частности, нами были обсуждены политико-экономические аспекты борьбы за землю в Бразилии в период, когда Партия рабочих (РТ) получила возможность на основе широкой политической коалиции формировать правительства при президентах Лула да Силва и Дилме Руссеф.

Приведем лишь один пример того, насколько мобилиующим в плане интеллектуального поиска может стать компаративистика. В интервью Сержио Зауэр акцентировал внимание на том, что исследователи обозначают как «криминализацию» аграрных

социальных движений, т.е. деятельности правых сил в институтах и структурах высшей власти и на местах в интересах агробизнеса, направленной на то, чтобы поставить любые действия руководства этими общественными движениями (прежде всего по реализации программ аграрной реформы, т.е. перераспределения земли, реформирования структуры владения и распоряжения землей в интересах широких масс) вне закона, объявить их преступными и всячески скомпрометировать в глазах общественности. Все это очень напоминает историку то, что происходило в России с 1905 по 1917 годы (точнее, с 1902 года), когда крестьяне, используя свои общинные органы самоуправления приступили к самовольному захвату земель, которыми, по их разумению, несправедливо продолжали владеть крупные собственники и магнаты бизнеса (в том числе и международного). Столыпинское аграрное законодательство также сделало эти действия незаконными, и соответствующая пропаганда на государственном уровне осуществлялась весьма активно. Последствия в России столетней давности и в Бразилии современной оказались различными, что только усугубляет актуальность компаративистского упражнения за эту тему. Ведь поднимая сегодня на щит столыпинскую реформу, ряд историков тем самым создает идеологическое обеспечение для реформы современной в области поземельных отношений. А сегодняшний бразильский опыт может существенно помочь в этой историографической полемике тем, кто убежденно отстаивает «ретроспективную бесперспективность» таких «легальных» «демократических» структур, как Учредительное собрание и т.п. в решении земельного вопроса так, чтобы это устроило все силы, рвущиеся распоряжаться сельскохозяйственными землями в России. Значит ли это, что в Бразилии при радикальном решении аграрного вопроса (которое продолжают отстаивать сельские социальные движения) неизбежно что-то вроде гражданской войны? Не такая уж и абсурдная постановка вопроса для предлагаемого компаративного исследования, в ходе которого не только историки, но и другие специалисты гуманитарного знания могут и должны формулировать свои соображения.

Есть все основания полагать, что три полных срока пребывания у власти в Бразилии политического союза, возглавляемого Партией рабочих, создали ситуацию, когда глубокая земельная реформа стала первоочередной задачей правительства – так было до тех пор, пока крайне правая администрация президента Майкла Темера не направила усилия на похороны земельной реформы путем полной ликвидации Министерства аграрного развития и всемерного политического и финансового ослабления Национального института колонизации и аграрной реформы. На фоне сменявшихся друг

друга руководимых Партией рабочих администраций наблюдалась общая картина ослабления социальных движений и их нарастающей неспособности оказывать давление на правительство для осуществления партийной аграрной политики. Конечно, отдельные политические завоевания и даже прорывы имели место, но негативный тренд был очевиден. После 2010 года наблюдалось резкое сокращение земель, охваченных земельной реформой, и федеральное правительство неохотно признавало территориальные права местных органов администрации.

Признавая трудности, связанные с политикой народных мобилизаций, необходимо избегать упрощений в понимании «приверженности» социальной борьбе и не сводить борьбу за землю к простому отстаиванию необходимости земельной реформы. Не может эта политическая линия быть сведена и к вопросам кооптации, институционализации или преуменьшения автономии, что нередко бывает при рассмотрении эволюции «от движения к организации». Этот переход нельзя рассматривать как «переход от местных массовых движений в качество неправительственной организации» [30, с. 864]. Не безупречна и идея, что такие организации набрали вес в реализации требований народных движений. Необходимо принимать во внимание и другие политические изменения внешнего характера, особенно новые процессы криминализации социальных движений и «аграрный мир», которые сформировались в рамках политики поддержки агробизнесов и общественных инвестиций в определенные типы аграрного развития. Исследователи приходят к выводу, что согласие, основанное на утрате общественными движениями своей объединяющей силы, стало результатом, с одной стороны, превращения экспорта товаров в приоритетное направление политики, с другой – политики, направленной на перераспределение доходов.

Анализ новейшего этапа аграрной политики и борьбы за землю, особенно во времена правления президентов Лула (2003-2010 гг.) и Руссеф (2011-2016 гг.), должен исходить из факта усиления влияния так называемой «экономики агробизнеса». Будучи чем-то вроде неотъемлемой составляющей нео-девелопментализма, она опиралась на политические нарративы, представляющие определенную версию модернизации и «устойчивого развития». Однако в качестве дискурса модель нео-девелопментализма, или «экономика агробизнеса», оттеснила на задний план изучение той роли, которую играли крестьяне и сельскохозяйственные рабочие, лишенные земли: в этой неолиберальной экономической логике в сегодняшней Бразилии делается упор на роль агробизнесов]. Фактически финансовое стимулирование сельского хозяйства осуществлялось правительствами Партии рабочих в ущерб земельной реформе. Шаги, предпри-

нимаемые правительствами Партии рабочих, противоречивы: они значительно продвинулись по пути решения проблемы криминализации сельских социальных движений, но тактические шаги в Конгрессе по учету интересов крупных землевладельцев оборачиваются успешным возникновением все более разнообразных форм криминализации. В конечном, хотя семейные хозяйства и выиграли от значительного повышения инвестиций, земельная реформа в целом была оттеснена на второстепенные позиции, равно как и те силы, которые отстаивали ее необходимость.

В 1990-е годы аграрная политика кабинета Фернандо Энрике Кардозо (1995-2002), особенно на первом этапе, была отмечена либерализацией торговли и демонтажем инструментов аграрной политики, прежде всего, снижением сельскохозяйственного кредита, ранее использовавшихся военным режимом. Сельское хозяйство предполагалось сделать «якорем национальной валюты», т.е. направить низкие цены в сельском хозяйстве на сдерживание инфляции и стабилизацию вновь создаваемого бразильского реала. Под эгидой неолиберализма и минимального государственного участия (снижение бюджетных затрат) осуществлялся курс на резкое сокращение ресурсов, направляемых на аграрную политику, параллельно со снижением ввозных пошлин на продовольствие. Такая комбинация обернулась снижением на 30% реальных доходов аграрного сектора в 1995 году и значительным ростом импорта на протяжении 1990-х годов: общий импорт сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении вырос с 2,4 млрд долларов США в 1990 году до 5 млрд в 1994 и 6,8 млрд в 1996 – это была беспрецедентная ситуация в истории бразильской экономики, которая увеличила задолженность аграрного сектора.

С 1999 года, второго срока Кардозо, правительство возвращается к поощрению сельскохозяйственного экспорта, что стало настоящим перезапуском агробизнеса. Эта политика будет в дальнейшем сохранена и даже усилена правительством Лулы. Помимо значительного увеличения ресурсов, направляемых на цели сельскохозяйственного кредита, правительство Кардозо запустило программу *Moderfrota* – финансирование закупок сельскохозяйственной техники и инвентаря, поощряя таким образом вложения в расширение посевных под зерновыми. Девальвация обменного курса, наряду с другими причинами, превращает агробизнес в конкурентоспособного экспортера; экспорт возрастает почти на 50% – с 20,6 млрд долларов США в 2000 году до 30,6 млрд в 2003. Наблюдался стремительный рост производства и экспорта сои, которая вместе с кукурузой составляла до 80% национального производства зерновых: внутреннее производство составляло 38 млн тонн в 2001 году, 42 млн – в 2002 и 52 млн – в 2003. В 2000-2003

годы агробизнес демонстрировал темпы роста в 4,6% в год в сравнении с 1,8% в промышленном секторе экономики, что вело к освоению новых территорий и расширению границ сельскохозяйственных земель [31].

В то время как агробизнесы получали эти новые стимулы, нарастала борьба за землю и усиливались требования социальных движений. Число захватов земли увеличилось с 50 в 1990 году до 186 в 1995 и 450 в 1996, достигнув пика в 856 в 1999 году. Захваты сопровождались эскалацией насилия в сельской местности, мобилизуя общественное мнение на поддержку требования земельной реформы. Все это заставило правительство Кардозо пойти на создание Министерства аграрного развития и провозглашение задачи создания новых поселений. Во второй срок Кардозо (1999-2002) его правительство запустило программу «Новый сельский мир» (1999). В соответствии с инструкциями Мирового банка, логика этой политики была в том, чтобы расширить доступ к земле в целях борьбы с бедностью и смягчения социальных конфликтов. Политика создания поселений как способ смягчения социальных конфликтов дополнялась проведением «рыночно ориентированной аграрной реформы», которая, кроме прочего, состояла в переводе земли в товарную категорию – покупка вместо экспроприации с использованием новых кредитных линий Мирового банка по кредитованию безземельных семей, которые могли бы, таким образом, сами (вне связи с социальными движениями) обеспечивать себя земельными участками.

Программа ускорения роста как первоочередное направление правительственной политики наиболее ярко иллюстрирует бразильскую модель неодевелопментализма. Ее реализация была начата при президенте Лулы после 2007 года, продолжена президентом Руссеф и сводилась к сочетанию масштабных общественных капиталовложений в инфраструктуру (дороги, порты, гидроэлектростанции и т.д.) с инвестициями Национального банка экономического и социального развития (BNDES), направляемыми на поддержку роста в частном секторе экономики. Наряду с углублением и расширением внутреннего рынка ее целью была дальнейшая интеграция Бразилии в глобальные рынки и укрепление ее роли в качестве одного из гигантов сельскохозяйственного экспорта. Это имело положительное влияние на платежный баланс Бразилии, ее международную кредитоспособность, финансовый контроль, в то же время это придавало больший вес Министерству сельского хозяйства и увеличивало экономическую значимость агробизнеса. Это также оборачивалось ростом влияния бразильского аграрного капитала в других частях Латинской Америки.

В сочетании с частными инвестициями в модернизационные процессы стимулирование в рамках правительственных программ подпитывает «экономическую модель, основанную на интенсивной эксплуатации природных и сельскохозяйственных ресурсов» [32, с. 6]. Помимо привлечения иностранных капиталовложений и поддержания баланса внешней торговли правительственное стимулирование производства и экспорта товарной продукции сельского хозяйства стимулировали процесс деиндустриализации и того типа развития, который был обозначен как «экономика агробизнеса», подразумевающая такую экономику, которая основана на захвате и сверхэксплуатации естественных природных преимуществ или на присвоении земельной ренты. Борьба за территории и столкновения на этой почве – естественное следствие этого. Огромный экспортный профицит в сельском хозяйстве вследствие бума в экспорте соответствующих товаров обернулся бумом в области спроса на землю и, соответственно, взлетом цен на землю. В результате финансовые возможности государства в проведении земельной политики существенно сократились, поскольку рыночная цена составила тот базис, по которому определялся размер компенсации за экспроприированные земли.

На политическую экономию земельной реформы продолжают оказывать воздействие и другие факторы – явно внешнего характера, тем не менее довольно мощные. Бразильская система судебного права также внесла свой вклад в рост инфляции, связанный с ценами на землю. Куда более могущественной политической силой является Министерство сельского хозяйства и не только потому, что оно продолжает отстаивать интересы крупного агробизнеса и связанную с этим экспортную модель, но также и потому, что его деятельность направлена на то, чтобы изъять один из наиболее важных инструментов земельной реформы – точные критерии, по которым можно определять продуктивность земли и, следовательно, ее рациональное использование по назначению.

Сельские социальные движения столкнулись с необходимостью оспаривать ту ситуацию, которую официально принято рассматривать как укоренившуюся и все углубляющуюся тенденцию капиталоемкого сельскохозяйственного развития. И это грозный вызов, особенно если учесть рекордные темпы роста показателей производства, который обусловлен рекордным профицитом платежного баланса, и резко увеличившееся влияние агробизнеса как внутри правительства, так и в обществе в целом. Экономические беды Бразилии последнего времени только усиливают данную политико-экономическую логику, поскольку сельское хозяйство представляет собою одну из очень немногих успешных сфер экономики. По иронии судьбы, при обоих пре-

зидентах этот спор возобновляется в форме ложного противопоставления прежней модели земельной реформы, которую оппоненты обвиняют в одержимости идеей как можно большему числу нуждающихся раздать экспроприированные земли, и новой модели, ориентированной на качество, отдающей приоритет тем сельским поселениям, которые демонстрируют экономическую устойчивость. Теперь часто употребляется выражение «аграрная реформа качества», которое как бы приподнимает новую модель, дискредитируя прежнюю.

За период деятельности правительств, сформированных Партией рабочих, на смену тактике грубой силы (будь то полиция или военизированные формирования) и прямого насилия (убийства, угрозы смертью, насильственное выдворение и т.д.) приходят более изощренные легальные механизмы отнесения действий социальных движений к разряду уголовно наказуемых деяний с использованием широкого репертуара обвинений. Диапазон последних простирается от посягательства на собственность, преступного сговора и незаконного владения оружием до незаконного использования общественных фондов и причинения ущерба собственности в ходе захватов и демонстраций. Все это подрывает народную борьбу, ставит под сомнение ее законность и эффективность, представляет ее как преступные деяния, злостно чинимые «агитаторами», которые действуют на грани закона и порядка, т.е. снижает политическую мощь движений, ограничивает их возможность опираться на солидарность других слоев населения.

Таким образом, в силу самых разных и противоречивых причин аграрные социальные движения в значительной мере растеряли свою спланированную мощь, т.е. способность заставить правительство не останавливаться перед реализацией конфликтных вариантов земельной реформы, особенно экспроприаций и создания новых поселений. Вместо этого основной акцент в деятельности правительств делается на сельскохозяйственном развитии (поддержка агробизнеса и семейных фермеров), что оборачивается минимальными достижениями в области аграрных программ и земельной реформы. Кроме того, бразильские средства массовой информации преуспели в изображении земельной реформы как безнадежно устаревшей и экономически (препятствие для финансового и более широкого экономического развития), и политически (нагромождение обломков прежних идеологических заблуждений). Упирая на техническую модернизацию сельского хозяйства, такие нарративы намеренно обходят тот факт, что в Бразилии сохраняется крайне неравномерное и несправедливое распределение земли, что земли не хватает миллионам граждан, что в сельских регионах преобладает крайняя бедность.

В целом сельским движениям не удалось реализовать эффективную стратегию, в результате чего они оказались в оборонительной позиции, и им приходится переосмысливать свою стратегию в ситуации, когда Партия рабочих ослаблена, а новое правительство отвергает земельную реформу и, опираясь на поддержку Сельского блока, продолжает придерживаться тактики криминализации борьбы за землю. Внешние социальные и экономические факторы, среди которых следует упомянуть негативное пропагандистское освещение мобилизационной стратегии аграрных движений, также сыграли в этом не последнюю роль.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Когда речь заходит о типологиях моделей аграрного развития в исторической перспективе, неизбежно возникает вопрос, помогает ли в принципе подобная глобальная оптика понять локальные события и процессы и преодолеть ограничения национальной истории [см., напр., 33]. В качестве примера необходимости анализа эвристического потенциала глобальных/универсальных категорий можно рассмотреть понятие «крестьянин». В последние годы на научных мероприятиях в России побывали многие наши коллеги (крестьяноведы и сельские социологи) из Индии, Бразилии, Китая и других стран, которые, следуя устойчивому историческому дискурсу, считают нашу страну традиционно крестьянской, в том числе потому, что российское правительство активно позиционирует ее на международной арене как мощного сельскохозяйственного производителя. Однако когда мы берем наших иностранных коллег в поездки по сельским регионам России и показываем отечественные сельскохозяйственные предприятия, они с грустью признают, что крестьянства в российском обществе сегодня не существует, и в этом принципиальное отличие нашей страны от многих регионов мира, где крестьянство (в традиционном смысле слова и с полным или частичным набором «правильных» эмпирических индикаторов) легко обнаруживается вблизи даже крупнейших городских агломераций. Данный пример – лишь одна из возможных иллюстраций важного вопроса: насколько в принципе мы можем говорить об общей глобальной истории, основанной на неких универсальных типологических категориях? Этот вопрос заставляет задуматься о том, столь ли безупречны с аналитической точки зрения те исследовательские инструменты, которые мы столь уверенно используем, в том числе, для сопоставления разных социально-экономических и политических систем и формулировки далеко идущих теоретических выводов и практических рекомендаций.

XIX столетие ознаменовало фундаментальное изменение во взгляде на прошлое – европейское (а затем североамериканское) господство унифицировало подходы и методологические стандарты исторических повествований, ознаменовав «триумф вестернизации как... просвещенного и рационального взгляда» [33, с. 44] – повсеместно заимствовались не только ключевые понятия из европейских исторических нарративов и европейская история как универсальный образец развития. Такая европеизация стандартов была реакцией на меняющийся геополитический баланс сил – тенденцию интеграции мира под европейской гегемонией. Однако нельзя объяснять «повсеместное утверждение единообразно понимаемой всемирной истории в конце XIX – начале XX

века... просто переносом европейских интеллектуальных ценностей... нарративы историков и социальных мыслителей за пределами Европы... не были простыми слепками, но часто соответствовали реформаторским интересам местных авторов и их собственному пониманию реалий глобальных перемен» [33, с. 49]. Кроме того, евроцентричный нарратив подвергался критике как с позиций системного подхода (например, марксисты подчеркивали роль связей и взаимодействий в социальном развитии в мировом масштабе), так и цивилизационного анализа (ученые арабского и исламского мира отстаивали право на незападную модель социальной истории).

Конрад признает, сколько сложно реализуем проект глобальной науки, объект которой – взаимосвязанный мир, а предмет – обмены вещей, людей, идей и институций в глобальных контекстах, учитывая наличие иных проектов: это компаративистика (первоначально сопоставительный анализ государственности, революций и социальных перемен, сегодня – компаративная оптика, выводящая нас за пределы отдельных случаев, но неизбежно гомогенизирующая предметы, сглаживающая их внутренние различия, тяготеющая к телеологии, стандартизации и мнимой автономии объектов, а потому порождающая нарративы уникальности/исключительности); транснациональная история (изучает текущие и взаимно переплетенные аспекты трансграничных процессов, каким образом страна вписана в мировой контекст и как он на нее влияет, однако лишь указывает на глобальное, не изучая его вызовы и последствия); мир-системная теория (рассматривает большие региональные объединения и «системы», считая меньшие единицы их производными, часто впадает в экономический редукционизм на основе абстрактной трактовки капитализма, априори предполагает существование системного контекста, а не конструирует его из реалий, не свободна от элементов евроцентризма); постколониальные исследования (оценивают сложности взаимодействия через культурные границы на основе послышки, что современный мир вырос из колониального порядка, который определил не только формы господства и экономической эксплуатации, но и категории/уровни/режимы знания; исследуют динамику транскультурного обмена, создают транснациональную историографию, критикуют теорию модернизации и категорически исключают риторику «глобального» как дискурс империалистического доминирования); теория множественных модерностей (новый вариант цивилизационного дискурса, возникший в 1990-е годы и преодолевший телеологичность классической теории модернизации, т.е. признавший фундаментальное нормативное равенство разных траекторий развития культур и обществ; критикуется за отсутствие четкости и ограниченность сферой культуры, трактовку обществ как герметически закрытых и гомоген-

ных цивилизаций и игнорирование истории их взаимодействий) и т.п. Все эти проекты, казалось бы, выдвигают на первый план особые тематики, но на самом деле обладают массой методологических и концептуальных сходств и общей целью – «дать целостное объяснение глобальных процессов и динамических сдвигов..., изучать исторические проблемы, не ограничивая себя априори пределами национальных государств, империй или других политических образований» [33, с. 59-60].

Безусловно, глобально-типологический подход не обеспечивает неангажированную объективность. Выход из этого эвристического тупика – критика «центризмов» (евроцентризма, антиевроцентричных подходов – синоцентризма и нативистских цивилизационных подходов) и признание неизбежной позиционированности любой модели и перспективы любого ученого (зависимость от локальных, национальных и региональных факторов, государственных институций и коллективной памяти), которое, впрочем, требует отличать неизбежные смещения научного поиска от продуманных акцентов политизированной версии любого социально-экономического явления. Соответственно, любые попытки построения неких универсальных типологий должны выполнять не идеологическую, а просветительскую функцию – объяснять и проблематизировать социально-экономические и политические нарративы, демонстрируя, например, телеологическую риторику глобализации, опровергая утверждения о «естественности» глобальных структур и процессов, показывая не только выгоды, но и издержки глобальной интеграции, раскрывая ограниченность интерналистских объяснений, утверждающих полную ответственность индивидов и групп за свое счастье или несчастье в условиях, сформированных геополитическими структурами и иерархией властных отношений.

Необходимость ретроспективного и футурологического изучения взаимодействия социально-экономических институтов сельского развития обусловлена, во-первых, проблемами многополярной сельской дифференциации, которая характерна сегодня для всех стран БРИКС в большей или меньшей степени – это и региональная дифференциация (бедные и богатые регионы), и сельско-городская (противоречия между городом и селом), и социально-демографическая (сельская бедность, поколенческие и гендерные диспропорции, аграрное перенаселение – сельская депопуляция), и институционально-структурная («крупное» versus «мелкое» аграрное производство), и экономико-технологическая («современные» и «отсталые» аграрные технологии), и социально-инфраструктурная (проблемы здравоохранения, образование, культуры), и национально-культурная (национализм и межнациональные миграции в сельской мест-

ности). Во-вторых, очевидны и стратегические направления аграрной политики стран БРИКС: формирование программ регионального сельского развития, развития муниципального самоуправления, реализация мер по сглаживанию сельско-городских различий (увеличение инвестиций в сельскую местность, развитие несельскохозяйственной занятости), преодоление социально-демографических диспропорций (освоение и реосвоение фронтиров – опыт Бразилии, создание специальных социальных программ для разных сельских поколений и страт – опыт Китая, привлечение горожан в сельскую местность – опыт России), интеграция «крупного» и «мелкого» аграрного производства (например, кооперативная сельскохозяйственная система Бразилии, построение общества Сяокан в КНР) технологическая, цифровая и экологическая революции в сельской местности, трансформация сельских институтов образования и здравоохранения и проработка разных направлений сельского национального развития.

Попытки выделения неких типологических «синдромов» при проведении ретроспективного и футурологического анализа позволяют увидеть общие черты в, казалось бы, несхожих стратегиях социально-экономического развития, совмещая макро-оптику страновых типологий с микро-анализом экспертных оценок. Например, экспертные оценки и результаты полевых экспедиций позволяют обнаружить в представленных выше трех разных объяснительных моделях китайского экономического чуда – идеологически-политизированном сценарии строительства особого варианта социализма «сверху», экономически фундированном прогнозе создания капиталистической экономики одновременно «сверху» и «снизу» и констатации завершившегося перехода китайского общества к капитализму «снизу» – общие черты, в частности, игнорирование серьезнейших проблем китайского общества, которые маскируются концепцией «сравнительных преимуществ». Иными словами, «[любая политико-]экономическая теория подобна географической карте: сама по себе она не является реальным миром, но помогает представить окружающий мир и определить, что вы увидите, сделав следующий шаг. Карта характеризуется определенными уровнем абстракции и упрощения, но если в процессе ее составления игнорировать или упускать важные моменты, это приведет к ошибкам» [27, с. 349]. К сожалению, мы часто забываем о сконструированности наших представлений и ведем себя так, будто наши модели являются наборами реальных фактов, и тогда даже самые «благие намерения [реформирования] оборачиваются злом, и желаниям добиться быстрого экономического роста не суждено сбыться» [27, с. 350].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Agriculture in the Age of Fascism: Authoritarian Technocracy and Rural Modernization, 1922-1945. Brussels: Brepols Publishers, 2014.
2. Туз А. Цена разрушения. Создание и гибель нацистской экономики. М.: Издательство Института Гайдара, 2018.
3. Darre R.W. 1930 Neuadel aus Blut und Boden. Munchen: J.F. Lehmann Verlag, 1930.
4. Ben-Ghiat R. Fascist Modernities. Italy 1922-1945. Berkeley: University of California Press, 2001.
5. Griffin R. Modernism and Fascism: The Sense of a Beginning under Mussolini and Hitler. Basingstoke: Palgrave, 2007.
6. Bruggemeier F.-J., Cioc M., Zeller T. (Eds.) How Green Were the Nazis? Nature, Environment, and Nation in the Third Reich. Athens: Ohio University Press, 2005.
7. Herf J. Reactionary Modernism. Technology, Culture, and Politics in Weimar and the Third Reich. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
8. Havens T.R.H. Farm and Nation in Modern Japan: Agrarian Nationalism, 1870-1940. Princeton: Princeton University Press, 1974.
9. Young L. Japan's Total Empire: Manchuria and the Culture of Wartime Imperialism, Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 1998.
10. Waswo A., Yoshiaki N. (Eds.) Farmers and Village Life in Twentieth-Century Japan. London: Routledge, 2003.
11. Кондрашин В.В. «Даниловский сектор» Института российской истории РАН: прорыв в исследованиях аграрной истории России первой половины XX века // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2018 год: Итоги и перспективы исследования аграрной истории России X-XXI вв. М.-Брянск: РИО БГУ, 2018. С. 187-195.
12. Wildman A. From the editor // The Russian Review. An American Quarterly Devoted to Russia Past and Present. 1991. Vol. 50. No. 3.
13. Данилов В.П. Советская доколхозная деревня: население, землепользование, хозяйство. М.: Наука, 1977.
14. Данилов В.П. Советская доколхозная деревня: социальная структура и социальные отношения. М.: Наука, 1977.
15. Бухараев В.М. Идеальный учебник большевизма. Традиция и лингвокультура «Краткого курса истории ВКП(б)» // Новый мир истории России. Форум японских и российских исследователей. М.: АИРО-XX, 2001.
16. Современное крестьяноведение и аграрная история России в XX веке / Под ред. В.В. Бабашкина. М.: Политическая энциклопедия, 2015.
17. Данилов В.П. Аграрная реформа и аграрные революции в России // Великий незнакомец. Крестьяне и фермеры в современном мире. М.: «Прогресс-Академия», 1992. С. 310-321.

18. Чаянов А.В. Организация крестьянского хозяйства // Великий незнакомец. Крестьяне и фермеры в современном мире. М.: «Прогресс-Академия», 1992. С. 126-132.
19. Усольцева О.В. Сельская поселенческая сеть Томской области (1940 – 1980-е гг.). Томск: ООО «Издательство “ДЕМОС”», 2018.
20. Растянников В.Г., Дерюгина И.В. Сельское хозяйство: Восток vs Запад. Два технологических способа производства. М: ИВ РАН, 2017.
21. Богданов А.А. Военный коммунизм и государственный капитализм // Вопросы социализма. М.: Политиздат, 1990. С. 311-320.
22. Чаянов А.В. Государственный коллективизм и крестьянская кооперация // Кооператив. жизнь. 1920. №1-2.
23. Щеглов А. Борьба Ленина с богдановской ревизией марксизма. М., 1937.
24. Труды первой Всесоюзной конференции аграрников-марксистов. Т. 1. М., 1930.
25. Чаянов А.В. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии // Венецианское зеркало. М.: Современник, 1989. С. 161–208.
26. Чжан Юй. Опыт китайских экономических реформ и их теоретическая значимость / Пер. с кит. В.А. Ефановой. М.: Шанс, 2017.
27. Линь Ифу. Демистификация китайской экономики / Пер. с кит. Л.А. Ивлева. М.: Шанс, 2017.
28. Коуз Р., Нина Ван. Как Китай стал капиталистическим / Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2016.
29. Шнайдер С., Никулин А.М. «В совместных сравнительных исследованиях мы еще многому научимся друг у друга» // Крестьяноведение. 2019. Т. 4. № 3. С. 167-185.
30. Foweraker J. Grassroots movements and political activism in Latin America: A critical comparison of Chile and Brazil // Journal of Latin American Studies. 2001. Vol. 33. No. 4. Pp. 839-865.
31. Hecht S.B. Soybeans, development and conservation on the Amazon frontier // Development and Change. 2005. Vol. 36. No. 2. Pp. 375-404.
32. Baletti B. Saving the Amazon? Sustainable soy and the new extractivism // Envi
33. Конрад С. Что такое глобальная история? / Пер. с англ. А. Степанова; науч. ред. и предисл. А. Семенова. М.: Новое литературное обозрение, 2018.